

Станюкович Константин Михайлович

Вдали от берегов

Станюкович К.М.

Вдали от берегов

Посвящается Мане

I

Порто-Гранде, довольно скверный португальский городок и складочная угольная станция, находится на Сан-Винcente, одном из группы оголенных, скалистых островов Зеленого Мыса, которые лежат в области пассата, на большом морском тракте судов, идущих из Европы в Бразилию и Аргентину, на мыс Доброй Надежды и в Австралию. Прежде, до постройки Суэцкого канала, Порто-Гранде служил перепутьем и для кораблей, ходивших в Индию, Китай и Японию.

В этот-то маленький городок, приютившийся на песке у подножия голых гор, в глубине бухты, и сверкавший под лучами палящего тропического солнца своими белыми, напоминающими хохлацкие мазанки, домишками, - городок, населенный неграми-христианами да несколькими десятками разноплеменных европейцев, отечество которых там, где нажива, - был нашей последней стоянкой перед длинным и долгим переходом в несколько тысяч миль.

Мы пополнили наш восьмидневный запас угля, налили цистерны привезенной с соседнего острова водой (порто-грандская была скверная), чтоб по возможности меньше пить в плавании опресненной океанской воды, очень безвкусной, и набрали всякой живности столько, сколько возможно было взять, не загромождая очень палубы.

Накануне ухода палуба нашего щегольского клипера, к ужасу старшего офицера, представляла собою необычайный вид, несколько напоминавший деревню и сильно оскорблявший его "морской глаз".

Пять рослых крупных быков, только что поднятых на таях, один за другим, с качавшейся у борта шаланды и водворенных в стойле, устроенном на баке, очевидно еще не успели прийти в себя после воздушного подъема и продолжали выражать свое неудовольствие беспокойным мычанием, несмотря на ласковые шутки и подачи матросов, которые уже успели дать клички всем пяти животным. Тут же, в загородке, топтались бараны, беспечно пощипывая припасенную для них траву. Немного подальше, в сооруженном нашим стариком плотником ящике-хлеве, хрюкали свиньи, а в больших, принаитовленных у роствр клетках гоготали, крякали и кудахтали гуси, утки и куры. Повсюду были развешаны овощи, зелень и связки незрелых бананов, около которых вертелась "Сонька", маленькая забавная мартышка, купленная на Мадере одним из мичманов и с первого же дня сделавшаяся любимицей матросов.

Этот деревенский вид клипера возмущал старшего офицера. Он хмурил брови, ворчал, что "загадили" судно, и приказывал боцману смотреть, чтобы чаще вычищали палубу и чтобы везде были подстилки.

Все остальные офицеры, не чувствовавшие ни малейшего желания ради военно-морского

великолепия клипера пробавляться на длинном переходе одними консервами да солониной, напротив, оглядывали палубу веселыми взглядами. Да и сам старший офицер, в качестве обязательного ревнителя умопомрачающей чистоты, кажется, больше кокетничал, преувеличивая свое негодование, тем более что и он любил-таки покушать.

Но зато какое удовольствие испытывали матросы! Присутствие скотины и птицы, напомнивших здесь, далеко от родины, деревенскую обстановку и запах родного гнезда, действует оживляющим образом. Почти в каждом матросе, несмотря даже на долгую службу, пробуждается мужик, не забывший деревни и чувствующий над собой власть земли. Четыре матроса, назначенные ходить, по выражению боцмана, за "пассажирами", с видимой, чисто крестьянской любовью принялись за это дело, которое было гораздо ближе их душе, чем чуждая русскому крестьянину морская служба.

И на баке среди матросов говор, шутки и смех.

- А ты не ори, Васька! Нельзя, брат... военное судно! - смеется матрос, подавая белому, с темными метинами, быку размоченный в воде черный сухарь.

Испуганное животное продолжает мычать в унисон с другими.

- Черного хлебушка-то у вас и звания нет... А ты попробуй, скусно! Нечего горло драть...

- Тоже скотина, а небось понимает, зачем его к нам привезли! - замечает кто-то.

- Чует, что на убой!

- То-то он и кричит. По месту по своему родному тоскует! - уверенно произнес, выдвигаясь из толпы к стойлу, низенький рябоватый матрос, недавний вологодский мужик.

- В окиян, Арапка, пойдем! - шутит подбежавший вестовой, обращаясь к черному, самому большому быку. - Поди укачает?

- Привыкнет.

- А и здоровые же, братцы, быки! - восторженно продолжает рябоватый матрос-вологжанин. - Арапку бы в соху. Важный работник! - прибавляет он, любуясь своим знающим мужицким глазом красивым животным, которое мрачно озирало незнакомых людей и по временам яростно помахивало головой с большими загнутыми рогами, словно негодуя на веревку, которая держала его на привязи.

- Сердитый... Смотри, братцы, пырнет! - смеются матросы.

У бакового орудия, среди небольшой кучки матросов, стоит матросский любимец и гость, порто-грандский негр Паоло. Он улыбается, скаля зубы ослепительной белизны, и что-то говорит, коверкая английские слова вперемешку с португальскими и ласково глядя своими большими черными навывкате глазами. Паоло приехал из города на утлой лодчонке, чтобы проститься и еще раз поблагодарить своих нежданно обретенных друзей за любовь, ласку и гостеприимство. Десяток апельсинов и связка бананов были его прощальным гостинцем.

Этот Паоло, юноша лет семнадцати, с необыкновенно кротким выражением черного лоснящегося лица, в день нашего прихода в Порто-Гранде явился на клипер в самых невозможных лохмотьях и вместе с другими любопытными неграми любовался щегольским убранством клипера, восхищаясь ярко сверкавшею на солнце медью, орудиями, машиной. Он с первого же раза понравился матросам своим добродушным видом и детски-кроткой улыбкой и возбудил к себе участие своим тряпьем. Матросы порешили, что "Павла" горемычный бедняк (он и в самом деле был таким), и, когда просвистали обедать, одна из артелей очистила ему место у бака с жирными матросскими щами. Его пригласили знаками

сесть в артель, дали ему ложку, и кто-то сказал:

- Машир, брат!

Удивленный этим приглашением, негр сперва стеснялся, но вскоре стал вместе с матросами хлебать щи из бака с видимым наслаждением проголодавшегося человека. Когда щи были опростаны и принялись за мясное крошево, негр опять было постеснялся есть, и матросы снова его заставили и весело глядели, как он уписывал за обе щеки и мясо, а затем и кашу.

- Ешь, Павла, на здоровье. Ешь с богом! - любезно приговаривали матросы, угощая гостя. - Харч, братец, бон. Понимаешь? Гут...

- Небось понял. Ишь ухмыляется, черномазый... сыт! Тоже, братцы, и здесь беднота у них.

- Хлебушка не родится... Камень!

- И жрут же они, сказывают, всякую нечисть... Ни крысой, ни собачиной, ничем не брезгают... Одно слово: арапы!

- А будут какие: нехристи? - полюбопытствовал молодой матросик.

- Хрещеные... Польской веры.

- Ишь ты! - почему-то удивился матросик.

После обеда один из матросов принес старенькую рубашку и дал ее негру. Пример подействовал заразительно, и скоро Паоло подарили целый гардероб. Один отдал штаны, другой портянки, третий старые, выслужившие уже срок башмаки, четвертый - еще рубаху...

Паоло совсем ошалел.

- Бери, Павла! Оденься, брат... Твоя одежда... того! - смеялись матросы.

Надо было видеть радость молодого негра, когда он разделся и, бросив свое отчаянное тряпье за борт, одел ситцевую рубашку, штаны, башмаки и старую матросскую фуражку и взглянул на себя в зеркальце, принесенное кем-то из матросов. Он чуть не прыгал от восторга и выражал свою благодарность и словами и красноречивыми пантомимами.

- Не за что, не за что, Павла! - ласково говорили матросы и, улыбаясь, хлопали негра по спине.

- Одели дьявола?.. - проговорил, останавливаясь на ходу, старый боцман. Небось рад, чертова рожа.

Лицо боцмана на вид сурово; негр трусит и, словно виноватый, показывает на матросов: "Дескать, это они подарили".

- Бери, идол! - продолжает боцман и, в свою очередь, кладет ему на ладонь махорки. - Покури российского табачку!

С этого дня Паоло каждое утро являлся на клипер и проводил на нем целые дни; его всегда звали обедать, поили чаем, и вечером он уезжал, увозя с собой сухари, которыми наделяли его матросы. Он плел им корзины из какой-то травы, примостившись у баковой пушки, помогал грузить уголь и после обеда, отдохнув вместе с командой час-другой, плясал и пел свои песни, монотонные и заунывные, напоминающие наши, - одним словом, старался как-нибудь да отблагодарить за ласку и гостеприимство. И в течение пятидневной нашей стоянки в Порто-Гранде матросы так привыкли к Паоло, что очень удивились, не видя его на

клипере накануне ухода. Некоторые даже подумали: "Не стянул ли негр чего-нибудь?"

- Вот он, Павла, едет! - весело крикнул кто-то, увидав под вечер лодчонку негра. - Ишь... гостинец везет.

Против обыкновения, Паоло пробыл на клипере час и стал собираться. Перед этим он быстро и оживленно что-то говорил на своем гортанном языке и с тревожным видом указывал рукой на берег.

- Домой, Павла, торопишься? Цу хаус? - спрашивает марсовой Иванов, видимо очень довольный, что умеет говорить "по-ихнему".

- Падре... падре... Но гуд... - торопливо поясняет Паоло.

- Неладно что-то у Павлы, видно, дома. А какая-токая "падра"?.. Пойми, что он лопочет?

Подошедший фельдшер, пользовавшийся у матросов репутацией человека, умеющего говорить "по-всякому"; и действительно знавший несколько десятков английских, французских и немецких слов, которыми действовал с уверенностью и необычайной отвагой, после объяснения с негром и, по-видимому, не вполне ясного для обоих, авторитетно говорит:

- Отец у него заболел. Лежит в лихорадке! - прибавляет уже он свое собственное соображение и уходит.

Между тем Паоло снова горячо заговорил на своем языке и, прикладывая руку к сердцу, показывал другой на свое платье.

Его большие черные глаза были влажны от слез.

- Благодарит, значит...

- Ну, прощай, Павла!

- Дай тебе бог!

- Будь здоров, Павла!

И матросы приветно жали ему руку.

Паоло обошел чуть ли не всех бывших наверху матросов, прощался, что-то говорил, видимо взволнованный, и, быстро спустившись по черному трапу к своей шлюпочке, отвязал ее, прыгнул, поставил опытной, привычной рукой парусок и понесся к городу.

- Адью, адью, Павла! - кричали ему с бака.

Павла часто кивал своей черной как смоль, курчавой головой и махал шапкой, подаренной матросами.

- Душевный парень! - произнес кто-то.

И все хвалили Павлу и смотрели, как маленькая его лодчонка, совсем накренившись, быстро удалялась от клипера, ныряя на океанской зыби.

Ранним, чудным утром следующего дня, когда солнце только что выплыло над горизонтом, заливая его ослепительным блеском золотистого огня, мы снялись с якоря и, поставив все паруса, с мягким, веявшим прохладой пассатом вышли из Порто-Грандской бухты на широкий простор океана, чтобы идти в долгое плавание: прямо в Зондский пролив, на остров Яву, не заходя ни в Рио-Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды, если только на клипере будет все

благополучно.

Через несколько времени остров Сан-Винцент окутался туманной дымкой, затем обратился в серое бесформенное пятно и, наконец, совсем скрылся от наших глаз, и с тех пор уж долго-долго не пришлось нам видеть берега.

II

После чудного плавания в тропиках с благодатным северо-восточным пассатом, который нес клипер под всеми парусами узлов по семи-восьми в час, мы встретили у экватора проливные тропические дожди и пробежали штилевую экваториальную полосу, страшную для парусных судов, под парами.

Переход через экватор был отпразднован, согласно старинному морскому обычаю, традиционным обливанием тех, кто в первый раз попадал в нелегкую широту. Облиты были, впрочем, только матросы, за исключением десяти человек, уже ходивших в "кругосветку" и, так сказать, "крещеных". Капитан и офицеры откупились от удовольствия быть охваченными широкой струей пожарного брандспойта бочкой рома, потребованной для всей команды стариком Нептуном.

В вывороченном тулупе, с длинной седой бородой из белой пакли, с картонной короной на голове и с трезубцем в руке, владыка морей, в лице бойкого матроса из кантонистов и лучшего на клипере "царя Максимилиана", важно восседал на пушечном станке, представлявшем колесницу, везомый четырьмя испачканными черной краской матросами. Предполагалось, что это морские кони. Несколько полуголых матросов, раскрашенных суриком и охрой, с бумажными венками на головах и в туниках из простынь, составлявших свиту, изображали собой, вероятно, наяд, тритонов и nereid, а один матрос, загримированный бабой, надо полагать, намекал на Амфитриду.

Колесница с бака подъехала на шканцы и остановилась против мостика, на котором стояли капитан и офицеры. Тогда Нептун сошел с пушечного станка, театрально отставил вперед босую ногу и, стукнув трезубцем, спросил:

- Какой державы вы люди? Откуда и куда идете и много ли вас на судне офицеров и команды?

Капитан отвечал:

- Мы русской державы люди. Идем из Кронштадта на Дальний Восток. Нас восемнадцать офицеров и сто шестьдесят человек команды.

Нептун несколько струсил играть свою роль перед такими зрителями его сценического искусства. Это ведь не то, что представлять на баке перед своей публикой. И он продолжал скороговоркой, словно бы стараясь поскорей ответить вытверженный урок:

- Российские, значит, люди. Наслышаны и мы о них в подводном нашем царстве и готовы им помочь. Угодно ли вам, господин капитан русского корабля, попутных ветров? Ответствуйте!

Разумеется, капитан пожелал попутных ветров.

Тогда Нептун предложил на выбор: крещение водой или выкуп бочкой рома.

- Как будет угодно, - прибавил он.

- Разве Нептун пьет? - спросил, улыбаясь, капитан.

Эта реплика не входила в программу представления. Актер на мгновение опешил и, забыв свое достоинство владыки морей, по-матросски отвечал:

- Точно так, вашескобродие! Выпивает по малости!

Сделка состоялась к полному удовольствию и актеров и зрителей. И Нептун, снова входя в роль, произнес:

- Жалую вас, славные российские люди, попутным ветром и благополучным плаванием. Быть по сему. Ура!

Крик этот был подхвачен всей командой.

И, вновь ударив трезубцем по палубе, Нептун сел на колесницу. Процессия отправилась на бак. Затем, при общем смехе, началось окачивание из брандспойта, после чего вынесена была ендова рома, и все матросы получили за счет капитана по чарке.

Вечером, когда спал томительный зной и далекая высь почерневшего бархатного неба зажглась мириадами ярких звезд, запел хор песенников. И песни, то заунывные, то веселые, разносились среди штилевшего океана, который лениво шевелился своей громадной зыбью, раскачивая клипер.

Дня через два после перехода через экватор мы встретили юго-восточный пассат, поставили паруса, прошли южные тропики и спускались все ниже и ниже к югу, чтобы воспользоваться господствующим в южных широтах ветром и с этим "попутняком" подняться в Индийский океан.

Пришлось сказать "прости" безмятежному плаванью в тропиках Атлантического океана, снять летнее платье и облачиться в сукно. Относительная близость южного полюса давала себя знать холодным резким ветром и изредка встречавшимися льдинами. Снова начались беспокойные вахты, снова приходилось быть всегда "начеку". Часто налетали грозные шквалы, ветер свежел до степени шторма, и громадные валы разбивались о бока нашего маленького клипера, рассыпаясь серебристой пылью своих седых верхушек.

Наконец мы вошли в Индийский океан.

Вступили мы в этот грозный океан ураганов, наводящий трепет на самых закаленных и поседевших в море моряков и поглощающий самое большое количество жертв, не без некоторой торжественности. Суеверные моряки-купцы, вступая в этот коварный океан, бросают, как говорят, золотые монеты для его умилоствления, а мы отслужили молебен.

Изнывавший от безделья и большую часть времени спавший в своей маленькой душевной каютке, отец Дамаскин, иеромонах с Коневского монастыря, облачился в епитрахиль и в палубе, перед образом, едва стоя на ногах вследствие изрядной качки, стремительно бросавшей клипер, бледный, с вспухшим от спанья лицом, торопливо молил создателя о благополучном плаваньи.

В палубе плотной стеной стояли матросы, не бывшие на вахте, расставив врозь свои крепкие, цепкие ноги и балансируя на них. Распоряжение капитана о молебне, видимо, отвечало их душевной потребности. Лица их были сосредоточенны и серьезны. Засмоленные, жилистые и мозольные руки то и дело поднимались и, складываясь в персты, осеняли себя истовым крестным знаменем.

А из-за приподнятого машинного люка слышно было, как наверху "ревело". Индийский океан с первого же дня встретил нас не любезно: очень свежим порывистым ветром, который разведел большое волнение.

Молебен окончен. Матросы благоговейно подходили к кресту и отходили с видом удовлетворения. Образной помог батюшке снять облачение, погасил лампаду и убрал евангелие и крест. Все разошлись и принялись за свои обычные дела, а отец Дамаскин опять скрылся в свою каюту.

- Спишь - меньше грешишь! - постоянно говорил он.

- Заболеете, батя! - пугали его, бывало, мичманы.

- Все в руке божией! - неизменно отвечал своим низким баском отец Дамаскин.

- Так-то так, а все проветриваться надо. Спросите-ка у доктора.

- Пустое! - упорствовал батюшка и, не зная, что с собой делать, заваливался спать, выползая из своей каюты и появляясь в кают-компании только во время чая, обеда и ужина.

В кают-компании батюшка постоянно молчал. Изредка лишь, после усиленного угощения мичманов, он оживлялся и рассказывал пикантные иногда подробности о своей монастырской жизни.

Отчаянная скука одолевала бедного отца Дамаскина. Мещанин по происхождению, выучившийся грамоте в келье монастыря, он, разумеется, не читал "светских" книг, бывших у нас в библиотеке, и ни в одном из посещенных нами портов не съезжал на берег, находя, что и "не любопытно", и что в портах один лишь "соблазн дьявола". Красоты тропической природы - да, по-видимому, и всякой - были ему чужды, и лучшим местом на свете он считал свой Коневец. Там он "жил". Там, по его словам, он трудился, занимаясь огородами, а здесь он тосковал среди чуждой обстановки, без всякого дела. Он был охотник выпить, но в обществе офицеров стеснялся и редко-редко сдавался на предложение чокнуться стаканом красного вина, но, кажется, изрядно "заливал" у себя, по-фельдфебельски, в каюте*.

* Такие монахи на судах бывали в прежние, отдаленные времена. Теперь, говорят, на суда дальнего плавания назначаются образованные монахи, из кончивших духовную академию. (Прим. автора.)

III

Вот уже более месяца, как мы ушли из Порто-Гранде и плывем, ни разу не видавши даже издали берегов, а плыть еще далеко! Не менее трех недель, если только не будет никаких неприятных случайностей (вроде противных ветров или штормов), столь обычных на море. Еще не скоро увидим мы берег, всеми столь желанный берег.

И за все это время ничего, кроме неба да океана, то нежных и ласковых, то мрачных и грозных, которые составляют один и тот же фон картины, окаймленной со всех сторон далеким горизонтом. Подчас чувствуется гнетущее одиночество среди этой пустоты океана. Изредка лишь увидишь на широкой водяной дороге белеющий парус встречного или попутного судна, мимо пронесется "купец", подняв при встрече свой флаг, и снова пусто кругом. Только высоко реют в воздухе вестники далекой земли - альбатросы и глупыши, да порой низко летают над волнами, словно скользя по ним, маленькие штормовки, предсказывающие, по словам моряков, бурю.

В центре видимого горизонта несется по Индийскому океану наш стройный, трехмачтовый клипер "Отважный" под гротом, фоком и марселями в два рифа, узлов по десяти - по одиннадцати в час, легко убегая от попутной волны. Слегка накренившись, покачиваясь и вздрагивая от быстрого хода, он легко и свободно вскакивает на волну, разрезая ее седую

верхушку своим острым носом. Брызги воды попадают на бак, обдавая водяной пылью двух одетых в кожаны, с зюйдвестками на головах, матросов, которые смотрят вперед, обязанные тотчас же крикнуть, если что-либо заметят. Ветер их продувает, и вода пробирается за спины. Они добросовестно смотрят вперед и, нетерпеливо ожидая смены, перекидываются разговором насчет проклятой службы.

С высоты бирюзового неба, по которому бегут перистые облака, смотрит яркое солнце, прячется по временам за узорчатые белоснежные тучки и снова показывается, заливая блеском холмистую водяную поверхность. Барометр стоит хорошо, и капитан реже выходит наверх. Ветер дует ровный и свежий и радуется моряков. Суточное плавание, значит, будет хорошее и подвинет нас вперед миль на двести пятьдесят.

Тридцать пять дней в море! Это начинает уже надоедать русским людям, не привыкшим к морю и сделавшимися моряками только потому, что малы ростом*. Среди матросов заметно нетерпение. Всем очертел длинный переход и хочется, как моряки говорят, "освежиться" - выпить и вообще погулять на берегу. И они все чаще и чаще справляются: долго ли еще идти. Дни тянутся теперь с томительным однообразием беспокойных вахт, уборки судна и не всегда покойного отдыха. Того и жди, что в палубу, словно полоумный, сбежит боцман и разбудит своим бешеным окриком: "Пошел все наверх четвертый риф брать!", прибавляя, разумеется, к этому призыву артистическую ругань.

* В матросы обыкновенно берут малорослых людей. (Прим. автора.)

Не поется по вечерам, как прежде, песен. Не говорится сказок за ночными вахтами, и не слышно обычных оживленных разговоров на баке. Матросы, видимо, "заскучили" и как будто апатичнее делают свое трудное и опасное матросское дело. Боцмана и унтер-офицеры от скуки словно озверели: она чаще и с большим раздражением ругаются и, несмотря на запрет капитана, чаще дерутся, придираясь к пустякам.

Берега всем хочется, берега!

"Пассажиров", за которыми с такой любовью ухаживали матросы, нет ни одного. Они все съедены. Палуба снова своей чистотой и своим великолепием ласкает взор старшего офицера, но зато в кают-компании сидят на консервах и часто за обедом ворчат на повара. Матросы давно не лакомились "свежинкой". Последнего быка Ваську убили недели две тому назад, и они едят щи из консервованного мяса, из солонины и горох.

Всех, решительно всех, берет одурь от этого долгого пребывания в море, без новых впечатлений, в одном и том же обществе, с одним и тем же однообразием судовой жизни, и офицеров, пожалуй, еще сильнее, чем матросов.

Капитан, обреченный, ради престижа власти, суровыми правилами дисциплины на постоянное одиночество у себя на корабле, еще более чувствует его тягость на длинном переходе. Наверху он говорит с офицерами лишь по службе, и только за своим обедом, к которому обыкновенно, каждый день по очереди, приглашаются два офицера, он может забыть, что он неограниченный властелин судна, и вести неслужебные разговоры. Остальное время он один, постоянно один.

Обыкновенно спокойный и сдержанный, никогда не прибегавший к телесным наказаниям и ни разу не осквернивший своих рук зуботычинами (такие стыдливые капитаны появились в шестидесятых годах), - он стал нервнее и нетерпеливее и на днях даже был виновником безобразной сцены.

Это случилось во время налетевшего шквала.

Стоявший на вахте лейтенант Чебыкин, высокий, довольно красивый молодой человек, карьерист, любивший лебезить пред начальством, злой с матросами, которых он таки частенько бил, потихоньку от товарищей, спрятавшись за мачту (в те времена открыто бить стыдились), - только что скомандовал: "Марса-фалы отдать!"

Но матрос, стоявший у грот-марса-фала, хоть и слышал крикливый тенорок "пилы" (так звали матросы нелюбимого офицера), но замешкался и не мог отвязать снасти от кнехта. У него, как говорят моряки, "заело".

Шквал между тем приближался.

Капитан, стоявший на мостике, вышел из себя и крикнул:

- На марса-фале! Отдавай!.. Ты что же... Да ударьте этого осла, Николай Петрович!

В эту минуту марса-фал уже был отдан.

Но офицер не замедлил исполнить в точности сорвавшееся в пылу приказание. Он налетел на испуганного матроса и с ожесточением ударил его по зубам так, что полилась кровь, и, сияющий, возвратился на мостик.

Капитан уже пришел в себя и бросил взгляд, полный презрения, на своего исполнительного подчиненного. Видимо взволнованный, он спустился к себе в каюту. С тех пор он стал еще холоднее с Чебыкиным и несколько месяцев спустя, когда мы встретились с эскадрой, Чебыкина перевели на другое судно.

В кают-компании нет прежнего оживления. Все уже успели порядочно надоесть друг другу. Постоянное общение с одними и теми же лицами, в тесной общей каюте, отравляет существование. Каждый знает вдоль к поперек другого, знает, у кого осталась в России хорошенькая жена, у кого невеста, кто за кем ухаживает в Кронштадте, знает, что старшего артиллериста, безобидного, маленького, лысого человечка, бьет супруга, а у механика жена удерживает все содержание, оставляя мужу самые пустяки, знает, кто сколько должен портному Задлеру, еврею, приезжавшему проводить своих кредиторов в день ухода клипера в плаванье, кто копит деньги и потихоньку у себя в каюте ест - чтоб не угощать других - сыр и пьет портер.

Недостатки и слабости каждого, терпимые в обыкновенное время, теперь преувеличиваются и злобно ставятся на счет. Является желание покопаться в душе и сказать что-нибудь обидное. Чувствуется какое-то глухое взаимное раздражение, и необходимы большой такт и умение со стороны старшего офицера, чтоб уметь вовремя прекращать пикировки, грозящие обратиться в ссоры, которыми все чаще и чаще обмениваются между собою прежде дружно жившие люди. Книги все прочитаны. Разговоры и воспоминания все исчерпаны. Уйти друг от друга некуда. Один, другой спасаются от одуряющей скуки, занимаясь языками. Старший офицер выдумывает себе дело, донимая матросов чистотой. Остальные решительно не знают, как убить время, свободное от вахт и служебных занятий.

Полдень.

Вестовые накрывают на стол. Офицеры собираются к обеду и слушают лениво, как один из офицеров играет, несмотря на качку, "Травиату" на маленьком принайтовленном пианино.

- Бросьте, надоело! - говорит кто-то.

В это время торопливо входит старший штурман Аркадий Вадимыч, только что ловивший полдень, и садится заканчивать вычисления. Он из так называемых "молодых" штурманов. Это не сухой, сморщенный, невзрачный и угрюмый пожилой капитан, какими обыкновенно

бывают старшие штурмана, а бойкий, франтоватый поручик лет за тридцать, окончивший офицерские классы, щеголявший изысканностью манер и носивший на мизинце кольцо с бирюзой. Он не только не питает традиционной штурманской ненависти к флотским, но сам смеется над старыми штурманами, мечтает перейти во флот и старается быть в дружбе со всеми в кают-компании.

- Ну что, как, где мы, Аркадий Вадимыч? - спрашивают его со всех сторон.

Он говорит широту и долготу, обращаясь к старшему офицеру.

- А миль сколько?

- Двести шестьдесят. Отличное плавание...

- А скоро ли придем в Батавию? - задают вопросы мичмана.

- Потерпите, господа, потерпите... Скоро муссон получим, а там уж недолго!.. - торопливо и любезно отвечает Аркадий Вадимыч и бежит к капитану, оправляя пред входом к нему в каюту сюртучок и принимая деловой серьезный вид.

- А ведь подлиза! - шепчет один мичман угрюмому долговязому гардемарину, только что отдолбившему сто английских слов.

- Не без того... вроде Чебыкина...

- Он нынче опять своего вестового Ворсуньку* отдул, Чебыкин-то!

* Уменьшительное Варсонофия. (Прим. автора.)

- Скотина! Дантист! Он только клипер позорит! - негодует угрюмый гардемарин, и его бледно-зеленое лицо вспыхивает краской.

Чебыкин чувствует, что говорят про него, но делает вид, что не замечает, и дает себе слово сегодня же "разнести" угрюмого гардемарина, который у него под вахтой. Он его не любил, а теперь ненавидит.

Все садятся за стол. На одном конце стола, "на юте", старший офицер, по бокам его доктор и первый лейтенант, далее старший штурман, артиллерист, батюшка, механик, вахтенные начальники, а на другом конце, "на баке", мичмана и гардемарины.

Вестовые разносят тарелки с супом, пока за столом каждый пьет по рюмке водки. Качка хоть и порядочная, но можно есть, не держа тарелок в руках, и крепкие графины с красным вином устойчиво стоят на столе. Все едят в молчании и словно бы чем-то недовольны. Два Аякса - два юнца гардемарина, еще недавно закадычные друзья, сидевшие всегда рядом, теперь сидят врозь и стараются не встречаться взглядами. Они на днях поссорились из-за пустяков и не говорят. Каждый считает бывшего друга беспримерным эгоистом, недостойным бывшей дружбы, но все-таки никому не жалуется, считая жалобы недостойным себя делом. Курчавый круглолицый мичман Сережкин, веселый малый, всегда жизнерадостный, несосветимый враль и болтун, и тот присмирел, чувствуя, что его невозможное вранье не будет, как прежде, встречено веселым хохотом. Однако он не воздерживается и, окончивши суп, громко обращается к соседу:

- Это что наш переход... пустяки... А вот мне дядя рассказывал... про свой переход... вот так переход!.. Сто шестьдесят пять дней шел, никуда не заходя... Ей-богу... Так половину команды пришлось за борт выбросить... Все от цинги...

Никто даже не улыбается, и Сережкин смолкает, сконфуженный не своим враньем, а общим невниманием.

Доктор было начал рассказывать об Японии, в которой он был три года тому назад, но никто не подавал реплики.

"Слышали, слышали!" - как будто говорили все лица.

Но он все-таки продолжает, пока кто-то не говорит:

- Нет ли у вас чего-либо поновее, доктор?.. Про Японию мы давно слышали...

Доктор обиженно умолкает.

Жаркое - мясные консервы - встречено кислыми минами.

- Ну уж и гадость! - замечает Сережкин.

- А вы не ешьте, коли гадость! - словно ужаленный, восклицает лейтенант, бывший очередным содержателем кают-компания и крайне щекотливый к замечаниям. - Чем я буду вас кормить здесь?.. Бекасами, что ли? Должны бога молить, что солонину редко даю...

- Молю.

- И молитесь...

- Но это не мешает мне говорить, что консервы гадость, а бекасы вкусная вещь.

- Что вы хотите этим сказать?..

- То и хочу, что сказал...

Готова вспыхнуть ссора. Но старший офицер вмешивается:

- Полноте, господа... Полноте!

А угрюмый гардемарин уже обдумал каверзу и, когда Ворсунька подает ему блюдо, спрашивает у него нарочно громко:

- Это кто тебе глаз подбил?..

Ворсунька молчит.

Все взгляды устремляются на Чебыкина. Тот краснеет.

- Кто, - говорю, - глаз подбил?

- Зашибся... - отвечает, наконец, молодой чернявый вестовой.

Через минуту угрюмый гардемарин продолжает:

- Ведь вот капитан отдал приказ: не драться! А есть же дантисты!

- Не ваше дело об этом рассуждать! - вдруг крикнул Чебыкин, бледнея от злости.

- Полагаю, это дело каждого порядочного человека. А разве это вы своего вестового изукрасили? Я не предполагал... думал, боцман!

- Алексей Алексеич! Потрудитесь оградить меня от дерзостей гардемарина Петрова! -

обращается Чебыкин к старшему офицеру.

Тот просит Петрова замолчать.

После пирожного все встанут и расходятся по каютам озлобленные.

IV

Клипер точно ожил. У всех оживленные, веселые лица.

- Скоро, братцы, придем! - слышатся одни и те же слова среди матросов.

- Через два дня будем в Батавии! - говорят в кают-компани, и все смотрят друг на друга без озлобления. Все, точно по какому-то волшебству, снова становятся простыми, добрыми малыми и дружными товарищами. Аяксы, конечно, примирились.

Под палящими отвесными лучами солнца клипер прибирается после длинного перехода. Матросы весело скоблят, чистят, подкрашивают и трут судно и под нос мурлыкают песни. Все предвкушают близость берега и гулянки. Уже достали якорную цепь, давно покоившуюся внизу, и приклепали ее.

На утро следующего дня ветер совсем стих, и мы развели пары. Близость экватора сказывалась нестерпимым зноем. Кочегаров без чувств выносили из машины и обливали водой. По расчету берег должен был открыться к пяти часам, но уже с трех часов охотники матросы с марсов сторожили берег. Первому, увидавшему землю, обещана была денежная награда.

И в пятом часу с фор-марса раздался веселый крик:

"Берег!" - крик, отозвавшийся во всех сердцах неопишуемой радостью.

К вечеру мы входили в Зондский пролив. Штиль был мертвый. Волшебная панорама открылась пред нами. Справа и слева темнели острова и островки, облитые чудным светом полной луны. Вода казалась какой-то серебристой гладью, таинственной и безмолвной, по которой шел наш клипер, оставляя за собой блестящую фосфорическую ленту.

К утру картина была не менее красива. Мы шли, точно садом, между кудрявых зеленых островков, залитых ярким блеском солнца. Прозрачное изумрудное море точно лизало их.

Наконец мы вышли в открытое место и к сумеркам входили в Батавию. Когда якорь грохнул в воду, офицеры, радостные и примиренные, поздравляли друг друга с приходом, и скоро почти все уехали на берег, на который не вступали шестьдесят два дня.